УДК: 340.13:339.924 DOI: 10.22394/2071-2367-2017-12-6-171-176

НОРМАТИВНАЯ СИЛА В КОНКУРЕНЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

***Пахолкин Д.А.*[1]**

Статья посвящена анализу использования нормативной силы в конкуренции России и ЕС за привлечение постсоветских республик к евразийскому и европейскому интеграционным проектам соответственно. В статье рассмотрена решающая роль, которую сыграло использование Россией и ЕС нормативной силы в постсоветских странах для их склонения к выбору европейского или евразийского направления интеграции.Исследование основано на методологии социального конструктивизма.Рассматривая нормативную силу как разновидность мягкой силы, отражающую способность субъекта изменять нормативный контекст в стране – объекте приложения силы и тем самым влиять на поведение этого государства в желаемую сторону, авторы приходят к выводу, что в ходе конкуренции интеграционных проектов России и ЕС на пространстве СНГ именно Евросоюз проявил способность к использованию нормативной силы и научился добиваться вовлечения в свою орбиту стран с европейской идентичностью. Россия, имея исключительно благоприятные условия на страте указанного процесса, не смогла использовать имеющийся потенциал для формулирования задач и целей даже в изначально зависимых от неё странах.

Ключевые слова: интеграция, нормативная сила, конкуренция, ЕС, Россия, нормы, идентичность.

NORMATIVE POWER IN THE COMPETENCE OF THE EURASIAN AND EUROPEAN INTEGRATION PROJECT IN THE POST-SOVIET SPACE

PAKHOLKIN D.A. – Senior Lecturer of the Department of General Humanities and Science Disciplines, International Law Institute (Russian Federation, Moscow), e-mail: dpakholkin@yandex.ru

The article is devoted to the analysis of the use of normative force in the competition between Russia and the EU for attracting the post-Soviet republics to the Eurasian and European integration projects, respectively. The article examines the crucial role played by the use of the normative force by Russia and the EU in the post-Soviet countries for their inclination to choose a European or Eurasian direction of integration. The study is based on the methodology of social constructivism. Considering the normative force as a kind of soft power reflecting the subject's ability to change the regulatory context in country- object of the application of force and thereby influence the behavior of this state in the desired side, the authors come to the conclusion that in the course of the competition and the integration projects of Russia and the EU in the CIS space, the European Union demonstrated the ability to use the normative forces and learned to achieve involvement of European identity in its orbit. Russia, having exceptionally favorable conditions on the strategy of this process, could not use the available potential for formulating tasks and objectives even in countries that were initially dependent on it.

Keywords: integration, normative force, competition, EU, Russia, norms, identity.

Пахолкин Дмитрий Анатольевич – старший преподаватель кафедры общегуманитарных и естественно-научных дисциплин, Международный юридический институт, адрес: 127427, Россия, г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 4, e-mail: dpakholkin@yandex.ru

Неэффективность политики России на Украине в конкуренции с Евросоюзом, приход к власти в этой стране открыто русофобских сил и окончательный отказ от участия в евразийском интеграционном проекте дали толчок серьёзной академической и политической дискуссии относительно причин подобного поражения и ошибок, допущенных Российской Федерацией в её курсе по отношению к Украине в домайданный период. В качестве одного из ключевых аргументов в этой дискуссии практически повсеместно фигурирует довод о недостаточном использовании Россией технологий так называемой «мягкой силы», тогда как западные структуры гораздо активнее прибегали к этим технологиям, чем и обеспечили себе нужную степень влияния на украинское общество и политическую элиту.

Однако в отношении факторов, обусловивших такое плачевное положение дел в области «мягкой силы», мнения разделились: некоторые исследователи считают, что у России наблюдается дефицит «мягкой силы» как таковой, поскольку вследствие своих внутренних слабостей она объективно не может создать такой же привлекательный и благополучный образ жизни, как в европейских странах, тогда как другие полагают, что у России достаточно собственных элементов социокультурной привлекательности, но государственный аппарат не умеет правильно конвертировать их в средства политического влияния. Проще говоря, мы проигрываем в «мягкой силе» либо потому, что её у нас нет, либо потому, что не умеем ею пользоваться. Тем не менее даже при таком расхождении большинство экспертов сходится во мнении, что для России более привычным и эффективным внешнеполитическим инструментом является классическая «жёсткая» военная сила, поэтому в тех случаях, когда использование «жёсткой» силы ограничено международным контекстом, позиции Российской Федерации закономерно слабеют.

При этом в западной академической литературе на этот счёт наблюдается забавное раздвоение: с одной стороны, всячески подчёркивается, что Россия не обладает сопоставимыми средствами «мягкой силы», поэтому ей приходится полагаться на «жёсткую силу» и прямое принуждение[1], а с другой, особенно после майдана, нагнетается откровенная истерия вокруг так называемых «гибридных» методов в российской внешней политике – парамилитарных, пропагандистских и полукриминальных рычагов влияния, которые якобы задействует Кремль для подрыва единства западного общества и его веры в либеральные ценности и для разрушения либерального миропорядка[2].

Не отрицая в принципе само по себе значение «мягкой силы», следует отметить, что это понятие в том виде, в каком его сформулировал Джозеф Най-младший, достаточно размыто, что затрудняет инструментальные возможности её применения для объяснения международно-политических процессов и требует существенной конкретизации и разработки методологического аппарата. Теория «мягкой силы» в нынешнем её виде слишком «эгоцентрична» в том смысле, что сосредоточена на методах, применяемых субъектом воздействия, и слабо касается особенностей объектов воздействия и механизмов, изменяющих их поведение в желаемую для субъекта сторону. Пользуясь классификацией Кристофера Хилла[3], можно сказать, что «мягкая сила», как, впрочем, и «жёсткая», – это не только наличие определённых ресурсов, но и способность превратить их в политический потенциал, а потом и в инструменты достижения поставленных задач. Существующие весьма немалочисленные

[1] См., например: Шерр Дж. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение: российское влияние за рубежом. Пер. с английского / Королевский институт международных отношений Chatham House, Центр Разумкова. – К.: Заповіт, 2013. – 152 с.

[2] См., например: Galeotti M. Hybrid war or gibridnaya voina? Getting Russia's non-linear military challenge right. – Mayak Intelligence, 2016. – 100 p.

[3] Hill Ch. The Changing Politics of Foreign Policy. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. – 400 p. (135-138)

исследования «мягкой силы» тех или иных государств зачастую перечисляют и описывают имеющиеся у них ресурсы невоенного влияния на политические процессы в других странах и регионах, но очень редко раскрывают механизмы того, как с помощью этих ресурсов государствам удаётся достичь желаемых результатов.

Этого прикладного, динамического аспекта «мягкой силы» российские исследователи не замечают, считая, что для реализации «мягкой силы» достаточно выстроить позитивный образ собственной страны у целевой аудитории других государств, и этот образ автоматически поможет добиться тех или иных политических целей. Некоторые эксперты полагают, что само по себе создание позитивного имиджа своей страны у зарубежной публики является венцом «мягкой силы», конечным этапом её реализации. А отдельные скептики «мягкой силы» вообще призывают к тому, чтобы отказаться от попыток выстроить положительный образ России в тех странах, где её аудитория якобы изначально негативно настроена к нашей стране[1].

Если говорить о «мягкой силе» России на постсоветском пространстве, то упирать на дефицит невоенных ресурсов и отрицать её наличие просто бессмысленно. Россия обладала никак не меньшим потенциалом «мягкой силы» в своём «ближнем зарубежье», чем Европейский союз. А вот механизм её задействования был явно проблематичен.

Это стало особенно очевидно на этапе разворачивания прямой конкуренции европейского и евразийского интеграционных проектов в пространстве «общего соседства» РФ и ЕС в конце 2000-х годов. Данная конкуренция носила комплексный и несколько асимметричный характер: ЕС навязывал странам Восточной Европы двусторонние соглашения о «глубокой и всеобъемлющей» зоне свободной торговли, Россия предлагала полноценный региональный интеграционный проект, дополняя его промежуточной зоной свободной торговли СНГ. Объективно говоря, эти проекты по сути своей не были взаимоисключающими[2]. Соглашения об ассоциации с ЕС содержали положения, позволяющие их участникам вступать в таможенные союзы, зоны свободной торговли и заключать соглашения о приграничном движении товаров, если они не противоречат нормам соглашения об ассоциации[3]. Однако вокруг этих проектов были выстроены такие политические дискурсы, которые не позволяли выработать компромиссные варианты их сочетания, а, наоборот, искусственно конструировали их взаимоисключающий характер. Во многом это было связано с задействованием и со стороны Евросоюза, и России своей нормативной силы как инструмента достижения конкретной политической цели – формирования желаемой политической конфигурации в Восточной Европе и на Европейском континенте в целом.

Нормативная сила считается одной из разновидностей «мягкой силы» и указывает на способность актора добиваться политических результатов с помощью проекции вовне своих норм, правил, стандартов и ценностей. Европейский союз считается пионером этого типа силы. Более того, после вроде бы успешного расширения на Восток его роль как нормативного игрока или даже «нормативного гегемона» превращается в элемент его политической идентичности. Поэтому при формировании политики в отношении третьих стран он всё больше ориентируется на транспонирование на них своего нормативного багажа.

Аналогичная направленность была заложена и в Европейскую политику соседства (ЕПС), в разработке которой принимали активное участие сотрудники бывшего Комиссариата по

[1] Фененко А. Реальность и мифы «мягкой силы» // РСМД. – 27 января 2016 года. – URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/realnost-i-mify-myagkoy-sily.

[2] Charap S., Troitskiy M. Russia, the West and the Integration Dilemma // Survival. – December 2013 – January 2014. – Vol. 55, No. 6. – P. 49-62. (58-59)

[3] См. ст. 39 Соглашения об ассоциации с Украиной или ст. 36 Соглашения об ассоциации с Грузией.

расширению ЕС[1]. Причём в случае стран восточного соседства проекция норм была одновременно и целью, и средством: усвоение норм ЕС должно было подтвердить европейскую идентичность этих стран, но в то же время их европеизация (тождественная в риторике еврофункционеров усвоению норм ЕС) должна была стать главным и единственным инструментом их стабилизации.

Нежелание России участвовать в ЕПС, а затем и выдвижение собственного интеграционного проекта со своим нормативным комплексом стали неприятным сюрпризом для Евросоюза и были восприняты как прямой вызов нормативному влиянию ЕС. В ответ на этот вызов европейские функционеры прибегали к геополитической риторике, ставя под сомнение легитимность РФ как игрока на постсоветском пространстве и необходимость учитывать её интересы[2].

При этом реальный разрыв между нормативным регулированием ЕС и Таможенного / Евразийского экономического союза был не настолько значительным, а основное противоречие заключалось во внешних торговых тарифах, которые в случае Таможенного союза были существенно выше, чем те, которые согласовала Украина при вступлении в ВТО в 2008 году.

Таким образом, задача России в ходе интеграционной конкуренции с ЕС в 2007–2013 годах заключалась в том, чтобы оспорить влияние нормативной силы ЕС и утвердить собственный нормативный проект в ближнем зарубежье. Поэтому, чтобы понять, какие ошибки допустила Российская Федерация в ходе этой конкуренции, необходимо рассмотреть механизм реализации нормативной силы и выявить те его элементы, которые не были задействованы российским руководством в рамках конкуренции с ЕС или были задействованы неэффективно.

1. Нормативная сила и механизм её действия

Концепция нормативной силы опирается на сформулированные в теории международных отношений представления о роли норм в международно-политических процессах и их влиянии на поведение акторов. Эти представления можно условно разделить на выработанные в русле рационалистской и конструктивистской парадигм.

В рамках классического рационалистского понимания, сформулированного школой неолиберализма, поведение рационально мыслящего актора представляет собой процесс перманентного выбора между имеющимися опциями, исходя из соотношения возможных приобретений и потерь от этого выбора[3]. При этом исходные мотивационные установки актора считаются заранее заданными и не подлежащими изменению. Международные нормы в таком понимании выступают составной частью внешнего, экзогенного, не подлежащего изменению контекста, определяющего в каждом случае соотношение затрат и выигрышей.

Конструктивистский подход, наоборот, исходит из представления об эндогенном, интенционально конструируемом и изменяемом характере международных норм и допускает, что нормы способны оказывать влияние не только на поведение, но и на мотивационные установки акторов, конституируя их идентичность и вытекающие из неё политические интересы (или понимание ими своих интересов)[4]. Нормы выступают не только внешними ограничениями,

---

[1] Kelley J. New Wine in Old Wineskins: Promoting Political Reforms through the New European Neighbourhood Policy // Journal of Common Market Studies. – 2006. – Vol. 44. – №. 1. – P. 29– 55.

[2] Casier T. Identities and Images of Competition in the Overlapping Neighbourhoods: How EU and Russian Foreign Policies Interact // Security in Shared Neighbourhoods. Foreign Policy of Russia, Turkey and the EU. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016. – P. 13-34. (24)

[3] O'Neill K. Actors, Norms and Impact:Recent International Cooperation Theory And The Influence Of The Agent-Structure Debate / K. O'Neill, J. Balsiger, S.D. VanDeveer // Annual Review of Political Science. – 2004. – Vol. 7. – P. 149– 175, P. 161.

[4] Ruggie J.G. Constructing the world polity. Essays on international institutionalization / J.G. Ruggie. – London:

в рамках которых агент осуществляет свой рациональный выбор, но во многих случаях и «прямыми указаниями», определяющими поведение агента и исключающими процесс рассмотрения альтернатив. Укоренённость тех или иных норм в данном сообществе влечёт их императивность, а следом и «деполитизацию», т.е. исключение из предметов политического обсуждения, что, однако, не исключает политических дебатов по поводу сферы или способов их применения.

Ключевым в конструктивистском подходе является тезис об изменчивости, динамичности норм и возможности их сознательного изменения и формирования (конструирования) в направлении, выгодном для действующей силы. При этом речь идёт как о международных нормах, так и о внутреннем для той или иной страны контексте, а также взаимозависимости внешних и внутренних нормативных факторов[1].

Если нормы способны оказывать настолько значительное воздействие на конститутивные и поведенческие свойства акторов, а также на структуру международной системы, то логично, что их можно целенаправленно, интенционально использовать как рычаги политического влияния. А значит, способность использовать нормы для получения желаемых политических эффектов можно выделить в отдельный тип силового потенциала субъектов международных отношений со своей спецификой и собственным механизмом реализации – *нормативную силу*.

Некоторые исследователи полагают, что нормативная сила не может выступать утилитарным рычагом политического влияния и связана исключительно с распространением норм как таковых, а не с достижением каких-либо политических эффектов. Поэтому она не может дать своим генераторам никаких силовых преимуществ, кроме «подобия авторитета на мировой арене», да и то лишь «за счёт (временного) признания целесообразности транслируемых норм»[2]. Однако в этой трактовке не учитывается то немаловажное обстоятельство, что нормы не являются политически нейтральными феноменами, они непосредственным образом влияют на политические конфигурации и баланс сил между акторами. По этой причине нормативную силу нельзя априори ограничивать сугубо нормативными эффектами, не учитывая её политической направленности.

В нашем исследовании мы будем исходить из определения А.И. Шаповаловой, согласно которому «нормативная сила – это способность целенаправленно задавать или изменять мотивационные детерминанты или поведенческие особенности акторов или структурные параметры международной системы путём конструирования, утверждения, изменения или преодоления отдельных норм или механизмов их обеспечения или нормативного контекста системы в целом»[3]. Отсюда следует, что нормативная сила включает в себя по меньшей мере две «компетенции» – способность задавать эволюцию внутренних и международных норм как таковых и способность добиваться с их помощью желаемых политических эффектов.

В обоих случаях механизм реализации нормативной силы связан со способностью формулировать собственные преференции в нормативных категориях и навязать выводимые из них цели другим акторам в качестве нормы, не зависящей от их личных интересов. Только в первом случае «конечной целью» выступает принятие другими акторами продвигаемой нормы,

---

Routledge, 1998. – 312 p., P. 25

[1] Checkel J.T. Norms, Institutions, and National Identity in Contemporary Europe // International Studies Quarterly. – March 1999. – Vol. 43. – No. 1. – P. 83– 114.

[2] Павлова Е.Б., Романова Т.А. Нормативная сила: теория и современная практика России и ЕС // Полис. Политические исследования. – 2017. – № 1. – С. 162– 176,С. 164.

[3] Шаповалова О.І. Нормативна сила: теоретичне осмислення прикладної концепції // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – Вип. 3 (60). – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – С. 82– 94. (88)

а во втором – изменение ими своих политических позиций, интересов или идентичности.

В качестве целевой аудитории могут выступать не только государства в целом, но и отдельные его институты или социальные группы. Воздействие на поведение государств часто осуществляется через воздействие на установки их элиты или более широких слоёв населения. Это предполагает постепенное изменение с помощью нормативной силы внутреннего контекста государств, в котором можно вычленить несколько уровней: нормативный контекст политической или широкой элиты, связанной с принятием решений[1], нормативный контекст широких бюрократических или профессиональных кругов[2], нормативный контекст общества в целом. Ведущим фактором в принятии тех или иных нормативных установок является уровень государственной элиты, оказывающей решающий вклад в принятие идентичности государства и отвечающих ей принципов.

Способы, с помощью которых происходит реализация нормативной силы, можно объединить в две большие группы – убеждение и стимулирование. Они создают у целевой аудитории нужную мотивацию к принятию нормы (или комплекса норм) или осуществлению на её основе тех или иных политических шагов[3].

Убеждение связано с аргументационным доказательством того, что предлагаемая норма или шаги на её основе являются «правильными» и ценными сами по себе, вне зависимости от тех материальных последствий, которые они могут за собой влечь. Подобное доказательство в большинстве случаев требует отсылки к уже действующему международному или внутреннему нормативному контексту, декларируемым целевой аудиторией ценностям или её идентичности. Необходимо установить прямое соответствие между предлагаемой нормой и актуальными для объекта применения нормативной силы идентификационными, ценностными или нормативными установками.

Стимулирование предусматривает акцентирование конкретных материальных или статусных преимуществ, которые может получить актор вследствие принятия предлагаемой нормы, или рисков и потерь, последующих от её непринятия. Для того, чтобы использовать методы стимулирования, необходимо сначала установить аргументационную связь между предлагаемой нормой и определёнными материальными или статусными элементами международной системы или же положением актора в ней, а затем показать, как принятие нормы повлияет на это положение. При этом использование методов стимулирования может происходить как в дискурсивной, так и в практической плоскости – благодаря предварительному выделению помощи актору ещё до принятия им желаемой нормы для её внедрения в будущем или предварительному же введению против него тех или иных санкций для демонстрации последствий отказа от её внедрения. В зависимости от контекста подобные действия могут как подстегнуть нормативный процесс, так и затормозить его, скомпрометировав нормативные цели методами силового принуждения.

Способы убеждения и стимулирования могут применяться самостоятельно, а могут сочетаться в единой стратегии. Это опять-таки зависит от контекста. Одно только убеждение может продуцировать нужные нормативные и политические результаты лишь в редких случаях[4], поэтому в реальности оно нечасто встречается «в чистом виде»[5].

---

[1]Ambrosetti D. Contre l'opposition « intérêts versus normes » : Rivalités interétatiques et relations de clientèle sous un prisme constructiviste / D. Ambrosetti // Études internationales. – 2006. – Vol. 37. – n° 4. – P. 525– 546, P. 526– 527.

[2]Legro J.W. Which Norms Matter? Revisiting the "Failure" of Internationalism // International Organization. – 1997. – Vol. 51. – №1. – P. 31– 63, P. 35– 36.

[3] Шаповалова О.І. Механізм реалізації нормативної сили // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. –Вип.3 (64). – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2014. – С. 58–59.

[4] Coleman K.P. Locating norm diplomacy: Venue change in international norm negotiations / K.P. Coleman // European Journal of International Relations. – 2011. – Vol. 19. – №1. – P. 166– 167.

[5] Payne R.A. Persuasion, Frames and Norm Construction // European Journal of International Relations. – 2001. – V.7. – №1. – P.41

Наиболее сложной с точки зрения реализации нормативной силы является ситуация, когда предлагаемая норма может нарушить внутренний политический или социально-экономический баланс реципиента, ухудшает позиции его элиты, несёт негативные последствия для международного положения реципиента или вступает в прямое противоречие с его идентичностью. В таком случае продвижение нормы требует подключения более серьёзных и затратных рычагов воздействия «снизу» – общественного давления, групп влияния, международных организаций и т.п.

Попробуем проанализировать конкуренцию европейского и евразийского интеграционного проектов, опираясь на представленный механизм реализации нормативной силы, и понять, насколько справедливы утверждения о том, что Россия в этой конкуренции изначально не имела достаточных ресурсов.

2. Стартовое соотношение «мягкой силы» России и ЕС на постсоветском пространстве

Распад Советского Союза представлял собой в некотором смысле уникальное историческое событие, потому как его политическое расчленение, в отличие от подобных случаев распада крупных государств, не венчало процесс фактической дезинтеграции, а только давало ему старт. Поэтому с самого начала постсоветское пространство сохраняло значительную степень экономической и социокультурной интегрированности. Более того, общества многих постсоветских стран были ориентированы на поддержание этой интегрированности и в дальнейшем. Однако политические элиты новых независимых государств были ориентированы на укрепление своей самостоятельности, поэтому последовательно способствовали сначала политической, а затем и практической дезинтеграции постсоветского пространства. Тем не менее в первое десятилетие после распада СССР общественный импульс к сохранению существующих связей был настолько серьёзен, что фактически являлся негласной нормой, которую даже самые рьяные «самостийники» не могли публично отрицать. Задача сторонников интеграции заключалась в том, чтобы превратить эту негласную общественную норму в институционализированный политический императив.

В начале 1990-х годов можно было говорить о сохранении наряду с нарождающимися национальными идентичностями новых государств общей постсоветской идентичности, из которой следовало представление об общей исторической судьбе народов и временном характере разделения. Неслучайно Содружество Независимых Государств поначалу преподносилось элитами постсоветских республик не как «форма цивилизованного развода» (эта циничная формулировка распространилась намного позднее), а как альтернативная форма интеграции на новых принципах, лишённых недостатков Советского Союза, действительных или мнимых.

Сохраняющаяся в большинстве республик постсоветская идентичность и глубокая интегрированность обществ предоставляли Российской Федерации серьёзные возможности для политического влияния. Потенциал «мягкой силы» в СНГ у России на том этапе был колоссальным. Кроме того, у России сохранялись немалые практические рычаги для стимулирования местных элит к более тесной интеграции, причём имеющие должную степень формализации и институционализации и позволяющие применять санкции против тех, кто от интеграции уклоняется. Это и наличные на территориях постсоветских республик силовые и управленческие структуры, готовые подчиняться Российской Федерации, и сохранение на первых порах общего культурного и образовательного пространства, включая продолжение трансляции Центрального телевидения и бесплатное обучение студентов за пределами своих республик, свободное передвижение и осуществление сделок по старым советским документам, наконец, экономическая взаимозависимость, ставившая республики в уязвимое

положение по отношению к России. Не все эти факторы можно отнести к «мягкой силе», однако само по себе их наличие подкрепляло нормы, ориентировавшие постсоветское пространство на реинтеграцию.

С другой стороны, установки, ориентирующие постсоветское пространство на проект интеграции с ЕС, не имели в этот период нормативного качества почти ни в одной постсоветской стране (за исключением республик Прибалтики). Европейские устремления некоторых местных элит только начали формулироваться, причём на том этапе они ещё не воспринимались как нечто несовместимое с ощущением общей судьбы постсоветских народов, а представления о формировании единой Европы не были жёстко привязаны к тогдашнему ЕС (значительно более узкому по своему составу) и предполагали участие России, а не противопоставлялись ей.

Политика самого ЕС в отношении постсоветского пространства изначально формулировалась в нормативных категориях, но без эксплицитной связи между нормативной конвергенцией и политическими или статусными преимуществами. ЕС действовал в максимальной неконфликтной форме, представляя свою политику простым содействием демократической трансформации новых стран. Важно отметить, что сама Россия признавала за ЕС это право и выступала реципиентом этой политики. По этой причине европейская идентичность не вступала в конфликт с идеей постсоветской (ре)интеграции.

Вместе с тем на перечисленные предпосылки успешной постсоветской интеграции наслаивался ряд негативных факторов, значительно затруднявших усилия в этом направлении.

Прежде всего это утверждение идей независимости и государственности в качестве главных элементов внутреннего нормативного контекста в странах СНГ. Процесс государственного строительства во многих из этих стран начался уже после формального получения независимости, происшедшего в большинстве случаев без явно выраженного общественного запроса снизу. Поэтому местные элиты в массе своей были заинтересованы в национализации подвластных им обществ. Но начинать эту «национализацию сверху» с социокультурной сферы было достаточно рискованно, да и необходимые для этого инструменты (национальные исторические нарративы, СМИ, гуманитарная инфраструктура) ещё не были сформированы. Поэтому этот процесс начался с политической национализации, то есть утверждения нормативного качества государственного суверенитета. Навязывание безусловной и абсолютной ценности своего государства и его суверенитета не очень убеждённой в этом внутренней общественности стало ключевой задачей многих местных элит, которые рассматривали любую институционализированную форму интеграции в СНГ как ограничение государственного суверенитета своих стран. Собственно, эта искусственно сконструированная дихотомия между суверенитетом и интеграцией продолжает довлеть над пространством СНГ до сих пор.Другим немаловажным фактором торможения интеграции стали разгоревшиеся в начале 90-х годов в СНГ внутренние и межгосударственные вооружённые конфликты. И хотя к середине 90-х почти все они были в той или иной степени «заморожены», политические противоречия, породившие их, никуда не исчезли. Более того, во внутренней политике втянутых в них стран значимость этих противоречий только росла, поскольку именно с их преодолением (именно преодолением, а не разрешением) местные элиты увязывали полноценное утверждение своей государственности. Конфликтность стала основным структурным качеством политически аморфного постсоветского пространства.

Сохранявшаяся при этом значительная практическая взаимозависимость этого пространства рассматривалась либо как данность, не требующая каких-то особых политических форм сближения, либо как гандикап, от которого необходимо избавиться. Уже во второй половине 90-х местные элиты стран СНГ начинают переходить к тактике экономического, а затем и политического шантажа РФ с помощью значительной инфраструктурной

взаимозависимости. Это было серьёзным сигналом о том, что остаточные экономические связи между бывшими республиками теряют свою политическую ценность в публичном пространстве стран СНГ, поэтому использовать их для создания мотивации к интеграции довольно проблематично. Местные элиты целенаправленно делегитимизировали практическую взаимозависимость как обоснование для каких-либо кооперативных политических стратегий, сначала понизив её нормативное значение в обществе, а затем намеренно выталкивая её за рамки политически допустимых опций.

В этом процессе серьёзным подспорьем для местных элит выступило дискурсивное увязывание постсоветской интеграции с укреплением политического доминирования России в пространстве СНГ. В такой интерпретации интеграция представлялась уже не объективной потребностью, обусловленной поддержанием доставшейся в наследство взаимозависимости, а исключительно средством фиксации российской гегемонии и, как следствие, подрыва государственности новых независимых стран.

Что касается самой России, то для неё интеграция в СНГ на том этапе не выступала первоочередным приоритетом, поэтому именно от России исходило большинство шагов по реальной дезинтеграции постсоветского пространства в 90-е годы[1]. Лишь по мере понимания того, что Запад не готов гарантировать Российской Федерации желаемый ею международно-политический статус в постбиполярной системе, российское руководство начало приоритезировать постсоветскую интеграцию в первую очередь как инструмент подкрепления своих статусных претензий. При этом оно не спешило придлагать активных усилий для создания мотивации к интеграции у сопредельных стран[2]. Это объяснялось устойчивой убеждённостью в том, что практическая взаимозависимость сама по себе объективно подталкивает их к интеграции, что интегрированность будет оставаться социокультурной нормой для постсоветских обществ и в дальнейшем и что серьёзной конкуренции со стороны внешних игроков не появится. «Объективные» интересы экономического развития стран СНГ должны были, по логике, привести их правящие слои к пониманию необходимости сближения в тех или иных интеграционных формах. Поэтому целенаправленных систематических усилий для продвижения постсоветской интеграции – ни в форме убеждения, ни в форме стимулирования – от Российской Федерации не исходило.

К тому же в 90-е годы у Российской Федерации, фактически, не было чёткого стратегического видения желаемого пути и форм развития постсоветской интеграции. На постсоветском пространстве одновременно продвигались три разнородных и разноуровневых проекта: наиболее инклюзивный формат СНГ, где интеграционная динамика практически не развивалась ввиду блокирующих действий со стороны некоторых наиболее «самостийнически» настроенных стран СНГ, главным образом Грузии и Украины; более ограниченный, но практически не функциональный формат сугубо экономической интеграции в виде Зоны свободной торговли СНГ и Таможенного союза пяти государств; и наиболее амбициозный двусторонний формат Союзного государства России и Белоруссии. Фактически эта «матрёшка» отражала различия в интеграционной мотивации разных стран СНГ, где одни местные элиты хотели сохранить экономические выгоды от практической взаимозависимости, но не стремились ни к какой форме интеграции, другие были готовы к традиционной экономической интеграции, но без политической «надстройки», и только белорусское руководство было готово инициировать и поддержать наиболее далекоидущие политические формы интеграции.

---

[1] Тренин Д. Post-imperium: евразийская история. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 326 с.

[2] Тренин Д.В. Россия и мир в XXI веке. – М.: Издательство «Э», 2015. – 384 с.

Проблема в том, что, пока Российская Федерация (без особого энтузиазма) пыталась решить для себя эту дилемму, ни один из уже существующих интеграционных форматов так и не заработал. СНГ так и не приобрел собственной интеграционной динамики в полном своём составе. Зона свободной торговли и более узкий Таможенный союз СНГ были размыты многочисленными изъятиями и ограничениями, а проект Союзного государства России и Белоруссии застопорился на этапе перехода к собственно государственному уровню интеграции.

К концу 90-х годов на пути постсоветской интеграции помимо политических разногласий и дефицита стратегического видения начали появляться и технические препятствия. Страны СНГ начали в одностороннем порядке присоединяться к ВТО. В процессе присоединения они брали на себя обязательства по поддержанию в своей внешней торговле определённого уровня тарифных барьеров. В принципе, эти обязательства уже тогда противоречили договорённостям, содержащимся в ряде документов СНГ, однако этот вопрос так и не был поднят в публичной плоскости. До середины 2000-х годов эту проблему практически не учитывали в политических расчётах, однако уже вскоре она станет весомым фактором, усложняющим продвижение интеграционных инициатив в пространстве СНГ.

Таким образом, говорить о высокой инерции распада и недостаточности «мягкой силы» России в первые годы после демонтажа Советского Союза неверно, как неверно и объяснять ими постоянное ослабление реальной интеграции все 90-е годы. По нашему мнению, ключевым фактором неудачи постсоветской интеграции в этот период стало отсутствие соответствующего целеполагания в самой России, вытекающего из ошибочной оценки приобретений и потерь в случае проведения более настойчивой политики реинтеграции, и не менее ошибочного расчёта на то, что сохраняющаяся взаимозависимость постсоветского пространства в ряде ключевых практических областей в конечном итоге заставит местные элиты пойти на те или иные формы интеграции с РФ. В результате вместо превращения интеграции из негласной общественной нормы в институционализированный политический императив в 90-е годы произошло размывание этой нормы вследствие целенаправленных усилий местных элит по продвижению «политической национализации» подвластных им обществ и превращению государственного суверенитета в «священную корову», ключевой элемент внутреннего нормативного контекста.

В то же время, действие в ближнем зарубежье факторов, которые должны были облегчить реинтеграцию постсоветских государств при наличии соответствующей установки со стороны руководства РФ, постепенно ослабевало. Практическая взаимозависимость в пространстве СНГ продолжала сокращаться благодаря как реальным дезинтеграционным шагам со стороны Российской Федерации, так и её использованию местными элитами в своих корыстных целях, включая политический шантаж Кремля. При этом в политическом дискурсе многих местных элит стран СНГ эта взаимозависимость всё больше представлялась не как объективное преимущество, а как политический гандикап, якобы обеспечивающий чрезмерные рычаги давления на эти страны со стороны Российской Федерации.

По этим причинам интеграция так и не стала системообразующим процессом в пространстве СНГ, а само это пространство подвергалось всё большей фрагментации благодаря влиянию локальных конфликтов и центробежным политическим тенденциям.

3. Изменение интеграционных предпочтений на постсоветском пространстве как продукт эволюции нормативного контекста

Итогом бурных 90-х годов на пространстве СНГ стало подчинение практически всего его нормативного контекста задаче «политической национализации» новых независимых государств, и РФ в этом плане не была исключением. По сути вектор политического развития этого пространства был поставлен в зависимость от того, какую форму, степень проявления примет процесс национализации ключевых его стран. Нормативных агентов, работающих над тем, чтобы

возвести идею интеграции в ранг эксплицитной политической нормы, в этом пространстве не наблюдалось. Зато процесс её делегитимации и секьюритизации, наоборот, только набирал обороты.

Существенное изменение ситуации в интеграционном поле постсоветского пространства проявилось в начале 2000-х годов в связи с тремя фундаментальными изменениями, которые развивались как параллельные процессы.

Во-первых, это отказ Российской Федерации от абсолютизации СНГ как базы интеграции и переход к более узким, но потенциально более эффективным евразийским форматам с чёткой интеграционной повесткой дня, ограниченной экономической плоскостью, и участием только тех стран, которые готовы к углублению интеграции. В конце 2000 года пятью странами СНГ – Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизстаном и Таджикистаном – был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества, ставящего своей целью создание Таможенного союза и Единого экономического пространства. К переговорному процессу о Едином экономическом пространстве подключается Украина, но выдвигает при этом ряд оговорок политического характера.

Во-вторых, это формирование проекта Общего экономического и гуманитарного пространства РФ–ЕС. Следует отметить, что на фоне кризиса вокруг операции НАТО в Косово в 1999 году в российских политических кругах наблюдалось глубокое разочарование в диалоге с США и НАТО, которое компенсировалось усилением «европеизма», то есть стремления к формированию политического партнёрства с Европейским союзом, которое могло бы сбалансировать влияние США на Европейском континенте и восстановить его «геополитическую целостность». Это стремление подпитывалось решительными, на первый взгляд, шагами Евросоюза в направлении оформления своей международно-политической и военно-политической субъектности. Подписание Амстердамского договора и инициирование Европейской политики безопасности и обороны, казалось, открывали дорогу к превращению ЕС в полноценного игрока на международной арене, способного преодолеть инерцию «холодной войны» и выстроить эффективное и равноправное партнёрство с Россией. Именно эти, как позже выяснилось, слишком далеко идущие чаяния дали импульс идее формирования Общего пространства РФ–ЕС на базе поэтапного двустороннего сближения с взаимной нормативной гармонизацией.

В-третьих, это расширение ЕС на восток и инициирование Европейской политики соседства (ЕПС), которая поставила отношения с восточными и южными соседями ЕС в прямую зависимость от принятия ими норм и правил ЕС. Если до этого в Соглашениях о партнёрстве и сотрудничестве, подписанных в середине 90-х годов, говорилось о гармонизации правового регулирования, то ЕПС была основана на прямой и односторонней проекции норм ЕС, хотя, согласно официальным декларациям, соседние страны могли сами установить желаемый для них уровень нормативной конвергенции.

Совпадение этих процессов во времени довольно показательно. Фактически единственный раз за всю свою постсоветскую историю в начале 2000-х годов Россия непосредственно приблизилась к реализации двух основных своих внешнеполитических задач – формирования эффективного интеграционного объединения в СНГ и создания общего интеграционного проекта с Евросоюзом. Но добиться окончательного воплощения обоих проектов Российской Федерации так и не удалось, прежде всего потому, что ни для ЕС, ни для участвующих в ЕврАзЭс стран указанные проекты не приобрели нормативной ценности к тому моменту, когда между Россией и ЕС начинает нарастать прямая нормативная конкуренция на постсоветском пространстве.

Надо признать, что эта конкуренция была скорее побочным продуктом их односторонних действий в «общем соседстве», нежели заранее продуманным и спланированным политическим курсом. Уже ЕПС, по существу, вступала в противоречие с инициированными

Российской Федерацией проектами евразийской интеграции, однако это не привело к открытому обсуждению этого вопроса в двустороннем диалоге. Российская Федерация считала ЕПС слишком слабым и аморфным механизмом, не подкреплённым достаточными материальными и статусными стимулами. Брюссель, со своей стороны, не рассматривал проекты евразийской интеграции как жизнеспособные, что на тот момент в целом подтверждалось предыдущим историческим опытом, а свои усилия на восточном направлении на самом деле оценивал как шаги в пути к стабилизации, модернизации и европеизации нестабильных и плохо управляемых постсоветских стран.

Но решающую роль в нарастании подобной конкуренции сыграли сами местные элиты некоторых стран СНГ, избравшие тактику балансирования между различными центрами силы.

В первой половине 2000-х годов в ряде стран СНГ произошла эволюция внутреннего нормативного контекста. Состоялся отход от постсоветской идентичности и превращение её в негативный маркер, от которого необходимо отмежеваться, и выдвижение на первый план европейской идентичности как общего ориентира политического и экономического развития. К тому моменту структурирование внутриполитической борьбы в этих странах происходило вокруг воображаемого противостояния «Запада и Востока», и европейская идентичность, представляемая в неконфликтном, кооперативном свете, продвигалась как объединяющая идея, способная преодолеть этот социокультурный разлом.

«Цветные революции» в Грузии и на Украине послужили кульминацией возведения европейской идентичности в ранг политической нормы для этих стран. При этом в качестве практического воплощения этой идентичности фигурировала только интеграция в Европейский союз, а не те или иные формы континентальной интеграции. Тем более, что опыт Балтийских стран, которые, несмотря на депопуляцию, смогли создать картину относительного благополучия, преподносился как образец успешной евроинтеграции, что создавало предпосылки для попыток повторения этого опыта некоторыми республиками СНГ. При этом интеграция в ЕС с полноценным обретением членства была провозглашена единственным практическим воплощением европейской идентичности «постреволюционных» обществ, тогда как евразийская интеграция выводилась за рамки политической дискуссии как нормативно недопустимая и несовместимая с провозглашённой европейской идентичностью.

Подобная ситуация создала благоприятный, но сложный контекст для реализации нормативной силы Евросоюза. С одной стороны, провозглашение европейской идентичности и цели вступления в ЕС со стороны якобы «проевропейских» правительств постсоветских стран означало признание нормативной гегемонии ЕС, однако, с другой, такая трактовка во многом обязывала Брюссель предоставлять этим странам интеграционные форматы, дабы ответить на их «европейские надежды» и поддержать эти самые «проевропейские» на словах правительства.

В этом контексте перед Евросоюзом встала серьёзная дилемма – либо идти на поводу у как бы «проевропейской» части местных элит, поддерживая уже выработанный ими, но пока не разделяемый в полной мере их обществами дискурс о европейской идентичности, несовместимой с евразийскими и любыми другими интеграционными проектами, включающими Россию, либо противопоставить ему свою, более инклюзивную и кооперативную интерпретацию в русле европейского континентализма. Европейские лидеры предпочли не решать окончательно эту дилемму, оставляя открытыми все опции, но такая очень свойственная ЕС «конструктивная амбивалентность» на этот раз сыграла на руку тем силам, которые последовательно отстаивали конкурентный по отношению к РФ проект восточной политики ЕС.

Дискурсивное внедрение новых, «проевропейских» норм в постсоветских странах облегчалось, с одной стороны, сознательной путаницей и преднамеренной подменой –

смешением этих норм с формальными стандартами ЕС, а также идентифицирующими признаками принадлежности к европейской цивилизации и наработанными общегуманистическими ценностями, с другой стороны – поддержанием этого дискурса официальными властями республик, заинтересованными в оправдании отказа от интеграции и скорейшего ухода «проинтеграционных» норм, с третьей стороны – благожелательным нейтралитетом, а то и поддержкой этому дискурсу или его части со стороны Российской Федерации.

По мере того, как разные страны склоняются к выбору европейского направления интеграции, Евросоюз навязывает им формальные обязательства, закрепляющие этот выбор не только конкретными шагами по сближению экономического регулирования и т.д., но и по конституированию политических норм, способствующих сохранению принятого в данной стране дискурса в общеевропейском русле.

Реакция российского руководства на подобный поворот событий в какой-то степени тоже подлила масла в тлеющий огонь геополитической конкуренции. В то время как европейские протагонисты «сдерживания России» вели борьбу за изменение нормативных установок государственных элит, влиятельных профессиональных сообществ (творческой интеллигенции, журналистов, учёных, силовиков) и социально активной молодёжи крупных городов, Российская Федерация предприняла меры, нацеленные на повышение материальной «цены» европейской интеграции для постсоветских государств за счёт демонстрации последствий разрыва оставшихся практических экономических и инфраструктурных связей. Если ЕС для продвижения своих интеграционных форматов использовал убеждение в нормативно-ценностных категориях, а также позитивные статусные стимулы, то Россия прибегала к материальному стимулированию, причём к стимулированию негативному, да ещё оказывающему воздействие не столько на местные элиты, сколько на те слои общества, которые и без того были заинтересованы в поддержании практической взаимозависимости в СНГ и разделяли нормативную ценность постсоветской интеграции. Только позже к этому добавился аспект статусного стимулирования, когда российское руководство пыталось апеллировать к тому, что участие в евразийской интеграции позволит странам СНГ в перспективе получить более серьёзные рычаги влияния на ЕС и выторговать более выгодные условия для экономической интеграции в «межблоковом» формате. Однако этот аргумент был выдвинут с опозданием и не смог набрать силу.

Таким образом, можно говорить о том, что Евросоюз проявил способность к генерированию и навязыванию дискурса, способствующего интернационализации, а затем формализации и институционализации выгодных ему норм, и, кроме того, воспользовался уникальным стечением обстоятельств, привязавших общегуманистические ценности прав и свобод человека, а также общую тягу к процветанию к конкретной реализации этих устремлений в Европейском союзе.

В результате, стартовав в 1991 – 1992 гг. с преимущественного положения, позволявшего России реализовать свои интеграционные начинания через сочетание мягкой и жёсткой силы, к моменту политических кризисов 2000-х годов Россия постепенно утратила свои преимущества, в то время как Евросоюз создал выгодную ему конфигурацию политического пространства в этих государствах, позволившую ему добиться от них выгодных ему решений с помощью мягкой и жёсткой силы. При этом, грамотно сосредоточив распространение выгодных ему норм среди наиболее влиятельных слоёв общества, Евросоюз либо дожидался выбора правящей верхушки в пользу евроинтеграции, либо использовал широкое распространение выгодных ему нормативных установок среди влиятельных слоёв общества (госаппарата, столичной интеллигенции, студенчества), когда надо было скорректировать в

его пользу выбор местных элит. Таким образом Западу удалось сорвать намечавшийся в 2004 году крен Украины в пользу российского проекта евроинтеграции (ЕЭП), а в 2013–2014 гг. – настоять на подписании Украиной договора об Ассоциации с ЕС.

Аналогичным образом европейские лидеры сорвали реализацию «плана Козака» в Приднестровье и заставили Молдавию отказаться от курса на евразийскую интеграцию, к тому же разворот республики на восток невозможен при нынешнем курсе Украины. Интернализация и институционализация проевропейского вектора в Грузии связана с Соглашением об ассоциации, хотя для Грузии характерна скорее прозападная, нежели конкретно проевропейская ориентация. Азербайджан не спешит апеллировать напрямую к европейской идентичности, поэтому в его случае говорить о существенном влиянии нормативной силы ЕС не приходится, и его действия исходят не из логики надлежащего, а из логики последствий.

Приоритет евразийской интеграции возобладал в тех случаях, когда ориентация на европейскую идентичность ещё не была закреплена во внутреннем нормативном контексте государств, когда для местных элит материальные стимулы или санкции со стороны России перевешивали преимущества интеграционных форматов, предлагаемых Евросоюзом, или когда ЕС не предлагал углублённых форм интеграции.

В частности, опыт республик Средней Азии показывает, что даже нормативная сила ЕС имеет объективные ограничения, связанные как с менталитетом указанных стран, так и с конкретным геополитическим контекстом, в котором они находятся. В отличие от других постсоветских республик, государства Средней Азии никогда не была приоритетной зоной насаждения влияния для Европейского союза, апелляция в них к европейской идентичности в обозримом будущем представляется невозможной, а интеграция с ЕС – затруднённой по экономическим причинам. Сам же ЕС пока не выдвигал претензий на вовлечение в свою орбиту республик Средней Азии. Всё это склонило выбор Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в пользу российских интеграционных проектов и обеспечило сохранение невраждебного отношения к ним Узбекистана и Туркменистана. Говорить о существенном вкладе нормативных факторов во всех этих случаях, по нашему мнению, не приходится: выбор перечисленных государств тоже исходил из логики последствий. Неслучайно Узбекистан участвовал в оппонирующей России группе ГУУАМ и вышел из него, как только изменились внешние условия, в частности, Запад стал требовать от него соблюдения выгодных ему политических стандартов.

Таким образом, решающее влияние на ход конкуренции интеграционных проектов на постсоветском пространстве сыграло использование нормативной силы, позволившее Европейскому союзу преимущественно с помощью инструментов убеждения и статусного стимулирования монополизировать и закрепить европейскую ориентацию ряда постсоветских стран как внутриполитическую норму, не подлежащую оценке с точки зрения выигрышей и потерь. В то же время Россия полагалась главным образом на инструменты материального стимулирования, задействовав их таким образом, что их действие сказывалось прежде всего на тех общественных группах, которые и без того разделяли ценность постсоветской интеграции, тогда как на общий нормативный контекст соответствующих стран эти инструменты не оказывали значительного влияния. По состоянию на данный момент европейское направление интеграции победило на Украине, в Молдавии и Грузии, а безусловно отстоять исходные позиции Российской Федерации (если не считать Белоруссию и Армению) удалось в Средней Азии, в которой ЕС пока что практически не задействовал свою нормативную силу.

Библиография/References:

1. Тренин Д.В. Россия и мир в XXI веке. – М.: Издательство «Э», 2015. – 384 с.
2. Тренин Д. Post-imperium: евразийская история. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. – 326 с.
3. Фененко А. Реальность и мифы «мягкой силы» // Российский совет по международным делам.– URL:http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/realnost-i-mify-myagkoy-sily/
4. Шаповалова А.И. Структурное значение интеграционных процессов в Евразии для европейской системы международных отношений // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Випуск 103 (Частина ІІ). – К.:Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2011. – С. 48–58.
5. Шаповалова О.І. Механізм реалізації нормативної сили // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – Вип. 3 (64). – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2014. – С. 55–63.
6. Шаповалова О.І. Нормативна сила: теоретичне осмислення прикладної концепції // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. – Вип. 3 (60). – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – С. 82–94.
7. Шерр Дж. Жесткая дипломатия и мягкое принуждение: российское влияние за рубежом. Пер. с английского / Королевский институт международных отношений Chatham House, Центр Разумкова. – К.: Заповіт, 2013. – 152 с.
8. Ambrosetti D. Contre l'opposition « intérêts versus normes » : Rivalités interétatiques et relations de clientèle sous un prisme constructiviste / D. Ambrosetti // Études internationales. – 2006. – Vol. 37. – №4. – P. 525– 546, P. 526– 527.
9. Casier T. Identities and Images of Competition in the Overlapping Neighbourhoods: How EU and Russian Foreign Policies Interact // Security in Shared Neighbourhoods. Foreign Policy of Russia, Turkey and the EU. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016. – P.13–34.
10. Charap S., Troitskiy M. Russia, the West and the Integration Dilemma // Survival. – December 2013 – January 2014. – Vol. 55, №6. – P. 49–62.
11. Checkel J.T. Norms, Institutions, and National Identity in Contemporary Europe / J.T. Checkel // International Studies Quarterly. – March 1999. – Vol. 43. – №1. – P. 83–114.
12. Coleman K.P. Locating norm diplomacy: Venue change in international norm negotiations / K.P. Coleman // European Journal of International Relations. – 2011. – Vol. 19. – №1. – P. 163–186.
13. Delcour L. Shaping the post-Soviet Space? : EU policies and approaches to region-building. – Burlington: Ashgate, 2011. – 192 p
14. Galeotti M. Hybrid war or gibridnaya voina? Getting Russia's non-linear military challenge right. – Mayak Intelligence, 2016. – 100 p.
15. Hill Ch. The Changing Politics of Foreign Policy. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. – 400 p.
16. Kelley J. New Wine in Old Wineskins: Promoting Political Reforms through the New European Neighbourhood Policy // Journal of Common Market Studies. – 2006. – Vol. 44, №1. – P. 29–55.
17. Legro J.W. Which Norms Matter? Revisiting the "Failure" of Internationalism / J.W. Legro // International Organization. – 1997. – Vol. 51. – №1. – P. 31– 63, P. 35–36.
18. O'Neill K. Actors, Norms and Impact:Recent International Cooperation Theory And The Influence Of The Agent-Structure Debate / K. O'Neill, J. Balsiger, S.D. VanDeveer // Annual Review of Political Science. – 2004. – Vol. 7. – P. 149–175,
19. Panke D. Why international norms disappear sometimes / D. Panke, U. Petersohn // European Journal of International Relations. – 2011. – Vol. 18. – №4. – P. 719–742.

20. Payne R.A. Persuasion, Frames and Norm Construction / R.A. Payne // European Journal of International Relations. – 2001. – Vol. 7. – No. 1. – P. 37– 61. (41)
21. Ruggie J.G. Constructing the world polity. Essays on international institutionalization / J.G. Ruggie. – London: Routledge, 1998. – 312 p.

1. Trenin, D.V. (2015) Rossiia i mir v XXI veke [Russia and the world in the XXI century]. – M.: Izdatel'stvo «E». – 384 p. (In Russ.)
2. Trenin, D. (2012) Post-imperium: evraziiskaia istoriia [Post-imperium: Eurasian history]. – M.: Rossiiskaia politicheskaia entsiklopediia (ROSSPEN). – 326 p. (In Russ.)
3. Fenenko, A. Real'nost' i mify «miagkoi sily» [The reality and myths of "soft power"] // Rossiiskii sovet po mezhdunarodnym delam. – URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/realnost-i-mify-myagkoy-sily/ (In Russ.)
4. Shapovalova, A.I. (2011) Strukturnoe znachenie integratsionnykh protsessov v Evrazii dlia evropeiskoi sistemy mezhdunarodnykh otnoshenii [The structural significance of integration processes in Eurasia for the European system of international relations] // Aktual'ni problemy mizhnarodnyh vidnosyn [Actual problems of international relations]: Zbirnyk naukovyh prac'. – Vypusk 103 (Chastyna II). – K.: Kyi'vs'kyj nacional'nyj universytet imeni Tarasa Shevchenka Instytut mizhnarodnyh vidnosyn. – P. 48–58. (In Russ.)
5. Shapovalova, O.I. (2014) Mehanizm realizacii' normatyvnoi' syly [Mechanism for the implementation of normative force] // Doslidzhennja svitovoi' polityky [Study of world politics]: Zb. nauk. prac'. – Vyp. 3 (64). – K.: Instytut svitovoi' ekonomiky i mizhnarodnyh vidnosyn NAN Ukrai'ny. – P. 55–63.
6. Shapovalova, O.I. (2012) Normatyvna syla: teoretychne osmyslennja prykladnoi' koncepcii' [Regulatory force: Theoretical understanding of the applied concept] // Doslidzhennja svitovoi' polityky [Research of world politics]: Zb. nauk. prac'. – Vyp. 3 (60). – K.: Instytut svitovoi' ekonomiky i mizhnarodnyh vidnosyn NAN Ukrai'ny. – P. 82–94.
7. Sherr, Dzh. (2013) Zhestkaia diplomatiia i miagkoe prinuzhdenie: rossiiskoe vliianie za rubezhom [Tough diplomacy and soft coercion: Russian influence abroad]. Per. s angliiskogo / Korolevskii institut mezhdunarodnykh otnoshenii Chatham House, Tsentr Razumkova. – K.: Zapovit. – 152 p.(In Russ.)